

Роман Э. М. Ремарка «Три товарища»: тема «потерянного поколения»

«До чего же странны нынешние молодые люди. Прошлое вы ненавидите, настоящее презираете, а будущее вам безразлично», — такую характеристику даёт поколению тридцатилетних одна из героинь романа Э. М. Ремарка «Три товарища». Поколению, с лёгкой руки Гертруды Стайн получившему название «потерянного» (термин впоследствии был введён Э. Хемингуэем в эпиграф к роману «Фиеста»).

Кто же они — «потерянное поколение»? Люди, семнадцати-девятнадцати лет под рокот оголтелой пропаганды ушедшие на фронты — туда, где не осталось прежних идеалов, расшатаны моральные понятия, разрушена промышленность. После войны они оказались абсолютно не нужны политикам своих стран.

И пусть национальные причины, вызвавшие яростный бунт «потерянных», в каждой стране носили специфический характер, главное, что показали писатели «потерянного поколения» Р. Олдингтон, Э. М. Ремарк, Э. Хемингуэй, Дж. Дос Пассос, Ф. С. Фицджеральд, У. Фолкнер, было общим — война обнажила фальшь многих привычных догм и общественных институтов, опровергла считавшиеся незыблемыми нравственные ценности и лишила молодых людей, переживших войну, идеалов и жизненных целей.

«Прошлое научило нас не заглядывать далеко вперёд», — говорит герой романа «Три товарища» Роберт Локамп, от лица которого ведётся повествование.

Прошло 10 лет с тех пор, как он и его друзья Отто Кестер и Готтфрид Ленц вернулись с войны, и всё же война живёт в них, неотвязно присутствуя в воспоминаниях, привычках и ассоциациях: дымящиеся асфальтные котлы напоминают им походные полевые кухни, фары автомобиля — прожектор, вцепляющийся в самолёт во время его ночного полёта, комната в туберкулёзном санатории — фронтовой блиндаж, глухой рокот моря и ветра — отдалённую артиллерийскую канонаду.

Какими же возвращаются с фронта герои Ремарка? Какие необратимые изменения произошли в них?

С виду весёлые и беспечные, это глубоко надломленные люди, вот уже 10 лет не могущие залечить свои душевные раны. Их кажущаяся гармоничность — маска, под которой скрывается невозможность найти своё место в этом мире, в мире, который предал их и которому они ответили полным неверием и презрением: «...в своё время мы вернулись с фронта, молодые, ни во что не верящие, словно шахтёры, выбравшиеся на поверхность из обвалившейся шахты. Нам хотелось ринуться в поход против лжи, эгоизма, алчности, душевной косности — против всего, что вынудило нас пройти через войну. Мы были суровы и могли верить только близкому товарищу или таким вещам, которые никогда нас не подводили, — небу, табаку, деревьям, хлебу и земле. Но что же из всего этого получилось? Всё распадалось, пропитывалось фальшью и забывалось. А если ты не умел забываться, то тебе оставались только бессилие, отчаяние, равнодушие и водка. Ушло в прошлое время великих человеческих и даже чисто мужских мечтаний. Торжествовали дельцы. Продажность. Нищета».

Они не успевали за своим временем, где господствовали ловкие и предприимчивые, успевшие набить карманы, пока они на фронте подставляли себя под пули. Они чувствовали себя изгоями со своими довоенными романтическими нравственными принципами, нелепыми и не вписывающимися в жёсткие правила борьбы за существование и выживание. «Уверенности — вот чего мне недоставало, — размышляет о своей жизни Роберт и мрачно приходит к мысли. — Именно уверенности, — её недоставало всем».

Постоянно рефлектируя, лучшие представители «потерянного поколения» уходят в самоанализ. Любая чужая неудовлетворённость жизнью возвращает их к мысли о своей. «Рядом со мной сидела женщина с надломленным голосом и что-то говорила. Ей нужен был партнёр на одну ночь, какой-то кусочек чужой жизни». Вид этой женщины наталкивает Роберта на размышления о собственной жизни: «Не искала ли она, в сущности, того же, что и я? Спутника, чтобы забыть одиночество жизни, товарища, чтобы как-то преодолеть бессмысленность бытия?» «Безнадёжно», — так расценивает Роберт свои шансы на успех. Потому ему очень близко отчаяние Джорджи, не имеющего возможности получить образование в силу отсутствия средств («Для меня учёба была всем. А теперь я понял, что нет смысла. Что ни в чём нет смысла. Зачем же, собственно, жить?») Роберту больно вновь думать об этом («Джорджи, — спокойно сказал я. — Посмотри-ка на меня. Неужели ты сомневаешься, что и я в своё время хотел стать человеком, а не пианистом в этом б...ском кафе «Интернациональ»?»), потому его доводы не особенно убедительны: «Конечно, нет смысла. Мы и не живём ради какого-то смысла. Не так это и просто». Ему как-то надо утешить жалкого и подавленного Джорджи, ведь сам он куда сильнее. За его плечами война. Война, которая сделала его жёстким, решительным и несентиментальным даже в самые тяжёлые и трогательные минуты жизни.

Разговаривая с доктором Жаффе о самом дорогом, что так ненадолго всё-таки составило смысл его существования (о жизни Пат), Роберт мыслит трезво и безжалостно. Выясняя шансы Пат на выздоровление, он открыто заявляет доктору, что, если таковых нет, Пат лучше не ехать в санаторий, а остаться умирать рядом с ним. Поражённый таким жёстким и беспощадным отношением к жизни и себе, доктор, спросив у Роберта, сколько ему лет, восклицает: «Тридцать, боже мой! Мне скоро шестьдесят, но я бы так не мог. Я испробовал бы всё снова и снова, даже если бы знал точно, что это бесцельно».

Огромное количество смертей, виденных ими, вчерашними школьниками, без зазрения совести брошенными под пули и снаряды, с большой наглядностью объяснили, с какой тщательностью нужно взвешивать свои и чужие шансы на спасение, что смерть безжалостна и необратима.

Со всей чёткостью поняли они, находясь каждый день на волосок от смерти, что завтра может просто не наступить, а потому нужно радоваться каждому прожитому дню, постаравшись взять от жизни всё, не загадывая на завтра.

И потому наши друзья не строят далеко идущих планов, не ставят перед собой высоких целей. Они живут сегодняшним днём. Не копя денег, они празднуют свои финансовые удачи в баре, отводя душу за рюмкой в приятной компании. Прошло 10 лет, как отгремели залпы их войны, а ощущение постоянства и устойчивости существования для них так и не наступило: «Тихими мягкими шагами спускалась Пат по ступенькам. Она ничего не говорила. А у меня было такое чувство, будто окончилась побывка, и теперь сырым утром мы едем на вокзал, чтобы снова отправиться на фронт».

Да, война сделала нервы своих бывших солдат стальными. И всё же закованная в стальную броню романтическая натура подсознательно тянется к прекрасному, как бы ища в нём спасения. Потому так торжественен выезд в театр, и воздушна Пат, которая «поверх серебряного платья... надела короткий серебристый жакет с широкими рукавами» и «была прекрасна и полна нетерпения», и элегантен Роберт в одолженном у Кестера фраке. И чарующая музыка к «Сказкам Гофмана» делала существование осмысленным и гармоничным: «Она была как южный ветер, как тёплая ночь, как вздувшийся парус под звёздами, совсем нереальная. Открывались широкие яркие дали. Казалось, что шумит глухой поток нездешней жизни; исчезала тяжесть, терялись

границы, были только блеск, и мелодия, и любовь; и просто нельзя было понять, что где-то есть нужда, и страдание, и отчаянье, если звучит такая музыка».

Но даже поход в театр демонстрирует отчуждённость Роберта от общества сытых и успокоенных, успевших урвать от жизни кусок пожирнее: «...одна за другой подкатывали к подъезду машины; из них выходили женщины в вечерних туалетах, украшенные сверкающими драгоценностями, мужчины во фраках с упитанными розовыми лицами, смеющиеся, радостные, самоуверенные, беззаботные... Я враждебно посмотрел на людей вокруг себя». Ощущая себя изгоем, он подсознательно стремится отъединиться от них и меняет билеты, хотя новые «стоили целое состояние»: «Я не хотел, чтобы Пат сидела среди этих благополучных людей, для которых всё решено и понятно».

Такие же противоречивые чувства испытывает Роберт и при посещении музея. Душа жаждет прекрасного и находит в старинных коврах, которые «казались огромными сказочными пастелями», и в картинах эпохи Ренессанса, и в «спокойно-величавых скульптурах античности», и в диванах, «обитых красным бархатом». Вот среди посетителей музея Роберт чувствует себя своим, потому что ему всё время кажется, что он присутствует «при какой-то титанической борьбе, неслышной борьбе людей, которые повержены, но ещё не желают сдаться. Их вышвырнули за борт, лишили работы, оторвали от профессии, отняли всё, к чему они стремились, и вот они пришли в эту тихую обитель искусства, чтобы не впасть в оцепенение, спастись от отчаяния. Они думали о хлебе, всегда только о хлебе и о работе; но они приходили сюда, чтобы на несколько часов уйти своих мыслей».

Все эти люди, как и Роберт, ищут гармонии, успокоения, спасения в красоте и не находят.

В чём же оно, спасение? Может быть, в вере? Однако, как видим, и к религии отношение изменилось. «После войны люди стали ходить на политические собрания, а не в церковь», - резонно замечает Ленц. Да и Роберт реагирует на слова священника: «Главное, верьте. Небесный отец помогает. Он помогает всегда, даже если иной раз мы и не понимаем этого», - очень скептически. И, самое главное, у него есть для этого повод: «Да, — подумал я, — если бы всё это было так просто! Он помогает, Он всегда помогает! Но помог ли он Бернарду Визе, когда тот лежал в Гоутхолстерском лесу с простреленным животом и кричал, помог ли Катчинскому, павшему под Гандзими, оставив больную жену и ребёнка, которого он так и не увидел, помог ли Мюллеру, и Лееру, и Кеммериху, помог ли маленькому Фридману, и Юргенсу, и Бергеру, и миллионам других? Проклятье! Слишком много крови было пролито на этой земле, чтобы можно было сохранить веру в небесного отца!» И действительно, святость веры очень сильно пошатнулась после этого кошмара и хаоса, в который погрузился мир во время войны и от которого никакие высшие силы его не уберегли, — ни от мук, ни от страданий, ни от страха за себя и за ближнего, ни от смерти, ни от ран, ни от душевной опустошённости.

Они уходили на фронт под треск оголтелой шовинистической пропаганды с осознанием необходимости своих будущих деяний и собственной востребованности: государство нуждалось в них, в их патриотизме, в их героическом порыве, в их смелости и самопожертвовании. Лишь там, на фронте, они поймут, что их жестоко предали, превратив в пушечное мясо и сняв с себя всяческую ответственность не только за их жизни и убийства, которые они там совершат (убийства, в которых по большому счёту не было никакой необходимости в силу абсурдности самой войны), но и за их будущее, за их судьбы по возвращении с фронта, если таковое будет им суждено. Те, кто так

нуждался в них тогда, когда нужно было подставить чьи-то тела под пулемётные очереди, абсолютно забыли о них, когда они, получившие телесные и душевные ранения, пытались найти своё место в абсолютно изменившемся послевоенном мире.

А в том, что жизнь изменилась, у них не было никаких сомнений. «Всё остальное дерьмо, Робби. Потому что в наше время нет ничего стоящего», - такой вердикт выносит своему времени Готтфрид Ленц, находящий успокоение в старых солдатских песнях в исполнении Роберта. «Эпохой саморастерзания» называет это время доктор Жаффе. «Работа стала делом чудовищной важности: так много людей в наши дни лишены её, что мысли о ней заслоняют всё остальное», - определяет он причины той, по его словам, «мрачной одержимости», с которой он и его сограждане шествуют по жизни, не видя ничего вокруг себя.

Ища выход из тягот и лишений жизни, люди стали прибегать ко всяким сомнительного рода мероприятиям, сулившим хоть какое-то облегчение: «Астрология, графология, предсказание будущего! Ваш гороскоп за 50 пфеннигов!» Вокруг стояла толпа. Резкий свет карбидного фонаря падал на жёлтое сморщенное лицо астролога. Он настойчиво убеждал в чём-то слушателей, молча смотревших на него. Те же потерянные, отсутствующие взгляды людей, желавших увидеть чудо. Те же взгляды, что и на собраниях с флагами и оркестрами». На собраниях, ставящих своей целью найти для этих несчастных врага, который виновен в их тяготах и страданиях. Результат идеологической перековки Роберт видит на примере одного из своих соседей, который «уже несколько месяцев ходит на предвыборные собрания». «Немецкий мужчина не извиняется! И уж меньше всего перед азиатом!» — самодовольно заявляет этот доморощенный патриот на резонное замечание Роберта, уличившего его в элементарной грубости.

Откуда же эта тяга к собраниям? Склонный к анализу Роберт довольно быстро разгадывает этот феномен: «Отто, — сказал я Кестеру, — теперь я знаю, чего хотят эти люди. Вовсе им не нужна политика. Им нужно что-то вместо религии». «Конечно, они хотят снова поверить. Всё равно во что. Потому-то они так фанатичны», - соглашается с ним Кестер.

А вот наши друзья уже ни во что не верят, это и выделяет их из общей фанатичной страдающей массы. Хотя что-то святое всё же осталось в их жизни — это принадлежность к фронтовому братству, которое они никогда не предадут.

Здесь они среди своих. Здесь все понимают друг друга и пьют за одно и то же: «За то, что мы все когда-нибудь подохнем!», «За то, что мы пока ещё существуем!», «Сколько раз наша жизнь висела на волоске, а мы всё-таки уцелели!» И каждый из присутствующих ощущает причастность к этому всем своим естеством. И хотя на некоторых это отражается не лучшим образом, как, например, на Валентине Гаузере, который «утверждал, что каждодневно обязан отмечать своё счастье: ведь вышел живым из мясорубки войны» и который «часто повторял, что такое везенье, сколько ни отмечай — всё будет мало», всё же это не очень омрачает их душевного единения.

Фронтное братство — это единственное, что достойно доверия и уважения. И это доказано не на словах, а на деле. Потому что только настоящий человек, настоящий брат мог, «преодолев полосу заградительного огня», принести Роберту «на передний край письмо», думая, что это письмо от матери, которое он так ждал — «мать должна была лечь на операцию». Валентин ошибся — это была всего лишь реклама подшлемников из какой-то особой ткани. На обратном пути его ранило в ногу. Как можно не оценить и не помнить такое самопожертвование?! Как можно не помнить погибших друзей, с которыми жили и воевали рука об руку, деля радости и невзгоды и об уходе которых

настойчиво напоминают даже абсолютно мирные и счастливые картины жизни, не связанные с грохотом снарядов: «Это было летом 1917 года, — вспоминает нежащийся в лучах мирного солнца Роберт более чем через 10 лет после произошедшего. — Наша рота находилась тогда во Фландрии, и нас неожиданно отвели на несколько дней в Остензе на отдых. Майер, Хольтгоф, Брайер, Лютгенс, я и ещё кое-кто. Большинство из нас никогда не были у моря, и эти немногие дни, этот почти непостижимый перерыв между смертью и смертью превратились в какое-то дикое, яростное наслаждение солнцем, песком и морем. Целыми днями мы валялись на пляже, подставляя голые тела солнцу. Быть голыми, без выкладки, без оружия, без формы, — это само по себе уже равносильно миру. Мы буйно резвились на пляже, снова и снова штурмом врывались в море, мы ощущали свои тела, своё дыхание, свои движения со всей силой, которая связывала нас с жизнью. В эти часы мы забывались, мы хотели забыть обо всём. Но вечером, в сумерках, когда серые тени набегали из-за горизонта на бледнеющее море, к рокоту прибоя медленно примешивался другой звук; он усиливался и наконец, словно глухая угроза, перекрывал морской шум. То был грохот фронтовой канонады. И тогда внезапно обрывались разговоры, наступало напряжённое молчание, люди поднимали головы и вслушивались, и на радостных лицах мальчишек, наигравшихся до полного изнеможения, неожиданно и резко проступал суровый облик солдата; и ещё на какое-то мгновение по лицам солдат пробежало глубокое и тягостное изумление, тоска, в которой было всё, что так и осталось невысказанным: мужество и горечь, и жажда жизни, воля выполнить свой долг, отчаяние, надежда и загадочная скорбь тех, кто смолodu обречён на смерть. Через несколько дней началось большое наступление, и уже третьего июля в роте осталось только тридцать два человека. Майер, Хольтгоф и Лютгенс были убиты!»

И подобные воспоминания были у каждого члена этого братства, воспоминания, которые невозможно было предать. Потому любое инакомыслие, стремление примкнуть к прослойке удачливых, сытых и предприимчивых расценивается как вероотступничество и дезертирство. Основы воинского братства провозглашает в романе Фердинанд, обращаясь к Роберту: «Потому, брат, ты и причастен к одному ордену — к ордену неудачников и неумельцев, с их бесцельными желаниями, с их тоской, не приводящей ни к чему, с их любовью без будущего, с их бессмысленным отчаянием. Ты принадлежишь к тайному братству, члены которого скорее погибнут, чем сделают карьеру, скорее проиграют, распылят, потеряют свою жизнь, но не посмеют, предавшись суете, исказить или позабыть недостижимый образ — тот образ, брат мой, который они носят в своих сердцах, который был навечно утверждён в часы, и дни, и ночи, когда не было ничего, кроме голой жизни и голой смерти.»

Они ощущают своё отличие от других уже в том, что сильнее других ценят жизнь, которой могли лишиться каждую минуту, будучи на фронте. Они счастливы в своём несчастье, потерянности и ненужности, забытости и неценности, счастливы, потому что живут: «Выпьем, ребята! За то, что мы живём! За то, что мы дышим! Ведь мы так сильно чувствуем жизнь! Даже не знаем, что нам с ней делать!.. Только несчастный знает, что такое счастье. Счастливец ощущает радость жизни не более, чем манекен: он только демонстрирует эту радость, но она ему не дана. Свет не светит, когда светло. Он светит во тьме. Выпьем за тьму! Кто хоть раз попал в грозу, тому нечего объяснять, что такое электричество. Будь проклята гроза! Да будет благословенна та шальная толика жизни, что мы имеем! И так как мы любим её, то не будем же закладывать её под проценты! Живи напропалую! Пейте, ребята! Есть звёзды, которые распались десять тысяч световых лет тому назад, но они светят и поныне. Пейте, пока есть время! Да здравствует несчастье! Да здравствует тьма!»

Что же держит их на плаву в этом несчастье, в этой тьме? Что помогает выживать в этом в мире, где для них нет места?

«Спокойствие и выдержка в трудных ситуациях — вот что украшает солдата», — именно это, по словам Ленца, помогает выходить из сложных ситуаций. Они и в самом деле сдержанны и немногословны. Прошедшие самые сложные жизненные обстоятельства, они не вскипают по пустякам и не пытаются обвинять кого-то в своих неудачах. Они смелы и самоотверженны. Но, как справедливо замечает всё тот же Ленц, героизм ничуть не поможет им в их повседневной жизни: «Героизм... нужен для тяжёлых времён. Но мы живём в эпоху отчаяния. Тут приличествует только чувство юмора». И тут-то становится абсолютно ясно, что только ироническое отношение к собственным промахам и тяготам жизни помогает этим по-настоящему сильным людям в минуты отчаяния не дойти до точки, как это делает Хассе. Ну, и, конечно, крепкая дружба, проявлениями которой изобилует роман.

Спасает ли их это? В какой-то мере, безусловно, да. И всё же война настигает их и в мирной жизни.

От рук подонков, завтрашних нацистов, которые сегодня митингуют на политических собраниях и ратуют за реваншизм Германии, проигравшей войну, а завтра снова понесут смерть в Европу, погибает «последний романтик» Ленц, лиричный тонкий, ироничный. Ремарк не даёт явной партийной принадлежности убийц Ленца, но в контексте описываемой эпохи определённо угадываются гитлеровские головорезы. Четыре раза был ранен на фронте Ленц. А погибнуть ему довелось от приспешников следующей войны, дожить до которой ему было уже не суждено. «Комья земли забарабанили по крышке гроба. Могильщик дал нам лопаты, и вот мы закапывали его, Валентин, Кестер, Альфонс, я, — как закапывали когда-то не одного товарища. Вдруг мне почудилось, будто рядом грянула старая печальная солдатская песня, которую Готтфрид часто пел:

Аргоннский лес, Аргоннский лес,
Ты как большой могильный крест...»

Война настигает не только Ленца, но и Пат, которую смело можно отнести к «потерянному поколению», хотя она несколько моложе Роберта, Отто и Готтфрида и не принимала участия в войне. Детство Пат пришлось на военное время, и как констатируют врачи, её смертельная болезнь является последствием недоедания в этот период: «Ничего страшного. Просто пришлось полежать. Видно, слишком быстро росла, а еды не хватало. Во время войны, да и после неё, было голодно», — так совершенно спокойно говорит она о своей болезни. Ей пришлось пролежать год, но это было незначительным по сравнению со счастьем остаться жить. Она считает себя авантюристкой: «Все твердили мне, что всё это бесконечно легкомысленно, что надо экономить жалкие гроши, оставшиеся у меня, подыскать себе место и работать. А мне хотелось жить легко и радостно, ничем не связывать себя и делать, что захочу. Такое желание пришло после смерти матери и моей долгой болезни».

«Ритмы джунглей и ностальгическое завывание джаза, — напишет впоследствии английский критик К.Кросс, — идеально выражали то безнадёжное отчаяние, с которым молодые мужчины и женщины Фицджеральда пытались насытить сладостным опытом каждое дорогое убегающее мгновение юности». Подобное мироощущение века было характерно для всех героев литературы «потерянного поколения», безотносительно их географической и национальной принадлежности.

При внешней сдержанности героев романа они проявляют недюжинные чувства. В романтическом ключе описаны как чудесная возвышенность и трагическая обречённость

любви Роберта и Патриции, так и полная настоящей преданности и безграничной самоотдачи дружба главных героев. Пиком её стала продажа Кестером автомобиля Карла, четвёртого товарища, о котором Отто говорил, что скорее даст отрезать себе руку, чем продаст его. Однако Роберту нужны были деньги на лечение смертельно больной Патриции, и решение о продаже Карла было принято Отто с той же безжалостностью и жёсткостью, с какими в своё время он принимал решения на фронте.

И все же, несмотря на возвышенность чувств, финал романа трагичен: погибает Ленц, умирает Пат, будущее Роберта и Отто в высшей степени призрачно. Им по 30, а жизнь в их представлении уже закончена: впереди ничего, позади — бездна войны, в настоящем трагические воспоминания. И потому символично звучит разговор между Робертом и Кестером:

« —Послушай, Отто, — сказал я, — ты бы хотел начать жизнь сначала, если бы мог?

— И прожить ее так, как прожил?

— Да.

— Нет, — сказал Кестер.

— Я тоже нет, — сказал я».